

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ



## КАНУВШИЙ РОД

РАССКАЗ

Звали ее не иначе, как Марыська. А Марыське было примерно за восемьдесят. Да она и сама толком не знала своего года рождения ввиду полной безграмотности. То ли годы, то ли болезни в поясничной области отразились на ее сухонькой фигуре, но передвигалась Марыська в согнутом положении. Была она беззуба, говорила громко, местами с фальцетом и непременно мешала слова с эдаким ехидненным хихиканьем. Старушка — божий одуванчик: плохого, как и хорошего, никому не сделала, мухи не обидела. Так — жила себе потиху. И на том спасибо.

Как-то моя покойная тетка Александра, когда мы с ее сыновьями в детстве по недомыслию отпускали в адрес Марыськи насмешки, нас урезонила, мол, чего старушку обижаете? Это сейчас она, дескать, беззуба да согнута, как подкова, а в девичестве за красавицу слыла, и надо было еще поискать девку, чтобы рядом с ней по красоте поставить.

И показала нам пожелтевшую фотографию. С нее горделиво смотрела статная красавица в длинном андараке\* и белой кофточке.

Господи, да в жизни бы не поверил: вот ведь что годы да старость с человеком делают!

У кого-то из нас невольно вырвалось: да при красоте-то такой чего же Марыська замуж не вышла?

---

*ИВАНОВ Александр Николаевич родился в 1956 г. д. Самойловичи Березовского района Брестской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина. Автор многочисленных очерков и рассказов. Главный редактор Брестской областной газеты "Заря". Живет в Бресте.*

\* Род женской одежды белорусских крестьянок, наподобие сарафана.

— А кто бы ее взял, если за ней пасагу\* не было?! — как отрезала теть Шура.

\* \* \*

При государе-императоре, да и при польском часе, в безземельных прозябал род Ганчиков. Такая была кличка у отца и прадедов Марыськи. Почему Ганчики — поди разберись: может, от какого-то знатного крылечка-ганка, поразившего воображение далеких предков, такое прозвание приклеилось, а может, от Ганки-Анки пошло, чем-то род прославившей или, наоборот, ославившей. Об этом история умалчивает, да и сами Ганчики в толк взять не могли, откуда у них такая фамилия. Короче, и бедность — порок.

Время шло, росла Марыська, силы и красоты набиралась. Затем, увы, медленно угасла ее красота, как цвет на корню, так никем по достоинству и не оцененная. А вот парни да мужики, видать, хоть и имели в душе на Марыську виды, а о серьезных намерениях даже и не помышляли: кому нужна голь перекатная? С землицы жить, а с красоты даже воды не испить. Можно только представить, сколько горьких слез это стоило в девичестве бедной Марыське.

Жила Марыська вместе с племянницей Олесей, тоже старухой-вековой. Судьбу тетки она повторила, видать, по той же причине, а скорее всего, если верить досужим домыслам той поры, из-за греха молодости. Олеся тоже в девичестве уродом не была, да вот беда — грешила горячностью темперамента. Такой слабости и в те далекие времена парни да мужики мимо не пропускали. Словом, забеременела девица красная от одного знатного молодца из местных парней и родила мальчика. Позор по тем временам великий, а к родившемуся на всю жизнь приклеивалась унижительная кличка — байстриук.

Надо полагать, Ганчики не могли примириться с позором: и так жизнь — одна нескладуха, а тут еще этот “подарок” — байстриук, будь ему неладное. Бедной Олесе, разумеется, лиха хватило — и не столько от чужих: эти посуздачат да успокоятся. А вот от своих, от их упреков — хоть в Ясельду беги топиться. И вот однажды новорожденный внезапно умер. Приехал из пастерунка полицейский чин расследовать дело: тогда тоже порядок был, и власти не дремали. Разбирался, говорили, недолго. Больше плевался и много нехороших слов обрушил на бедную Олесю и ее сродственников: и “пся крэв”, и “быдло”, и прочее, прочее.

Оказалось, что мальчонка накануне приболел. Молодая мама, естественно, взялась его лечить. Да вот — промашка вышла: когда давала ребенку нюхнуть нашатырь, не догадалась взять его на руки, а подсунула пузырек ему под нос в лежачем положении. А нашатырь, будь ему неладное, возьми и пролейся, да попади, на беду, мальчику в носоглотку — вот бедолага и задохнулся.

Ну, что тут поделаешь? Темнота несусветная — быдло натуральное, а по всему выходит, что убийство непреднамеренное, и состава преступления нет. Может, оно и было так, а возможно, полицейский чин при всей его строгости и шумливости оказался, по сути, добрым человеком, пожалел и без того несчастную девку.

Я же через многие-многое годы лично слышал от Олеси:

— Вот не приключись тогда беда, останься жить сынок — разве так бы я жила, хоть бы кто посмел обидеть меня, сиротинушку?

Увы, прошлого не вернуть, а иные ошибки дорого нам стоят.

Но, возвращаясь к той далекой поре, когда Марыська с Олесей были в расцвете, говорят, что старый Ганчик, брат Марыськи и отец Олеси, вроде как пытался из нужды выбраться. В двадцатые-тридцатые годы двадцатого века многие наши земляки на заработки уезжали в далекую Америку, а, точнее — в Канаду. Кое-кто вернулся, землицы прикупил, а большинство осталось на чужбине. Так вот, будто бы Ганчик тоже в Америку подавался, да что-то ему претило: то ли передумал, то ли по пути его карманы обчистили.

\* приданого.

Словом, вернулся мужик, не солоно нахлебавшись, в старенькую, еще дедом срубленную хатенку.

Я его смутно помню. Было мне, может, года четыре, пять... Я смотрел через штакетник на невысокого старичка, одетого, несмотря на лето, в затаканное пальтецо; не то в шляпе, не то в шапке-ушанке. Старичок очень медленно и как-то странно передвигался: сначала вперед выдвигал правую сторону тела, затем — левую. И что-то такое непонятное кричал: то ли на меня, сующего свой нос куда не следует, то ли на своих домочадцев — сестру и дочь, чем-то ему не угодивших.

Уже потом, много лет спустя, когда речь заходила о старом Ганчике, знавшие его люди то ли в шутку, то ли всерьез объясняли странность его походки, мол, Ганчик с Америки пешком пришел. Понятное дело — расстояние...

А еще я помню тот дряхлый домишко Ганчиков: серый, с маленькими оконцами, крыша соломенная, провалившаяся у трубы, отчего она выглядела несуразно и издали бросалась в глаза, словно старая городская водонапорка.

Про тот старый дедовский дом частенько вспоминала при жизни Олеся. Рассказывала, сколько хлопот, слез и пота стоило ей строительство новой хаты. Ее, конечно, не было бы, не помоги финансами младший брат Олеся — Алексей. Еще перед войной он, будучи молодым парнем, уехал по какому-то набору на работу в Россию, в далекую Уфу. Как позже рассказывал землякам, неплохо устроился: работал мастером в столярном цехе какого-то крупного оборонного предприятия, хорошо зарабатывал, был уважаемым человеком. Его жена, Вера Петровна, трудилась там же: то ли экономистом, то ли инженером в каком-то отделе. В 60—70-е годы Алексей Степанович со своей Петровной, уже будучи пенсионерами, приезжали на лето в Беларусь. Алексей был мастеровым человеком и за лето успевал многое сделать: построить новый погреб, ошалевать дом, поменять забор, смастерить табуретку, отстроить сарайчик и многое другое.

Небольшой домик был разбит на две части — кухню и комнату. Комната занимала большую половину, и в ней жил Алексей с женой. Причем эта комната оставалась свободной в их отсутствие. Олеся с Марыськой ютились на кухне.

Бог не дал детей Алексею и Петровне. Это, наверное, их угнетало, иначе бы мы, соседские дети, не чувствовали себя так свободно на их дворе. Особенно интересно нам было общаться с Верой Петровной. Она нам казалась чуть ли не феей, рассказывала много интересного и поучительного. Не возражал и Алексей, если к нему навязывались в помощники, когда он занимался по плотницкой или столярной части.

Инструмента у него было много, он аккуратно и с умом хранил его. Это Алексей научил меня пользоваться уголком, рейсмусом, уровнем, правильно регулировать нож в рубанке, другим премудростям. А еще я любил ходить с ним в лес за грибами. Сколько интересных вещей я узнал от него о нашей деревне, жизни за польским часом. Не всегда наши корзины заполнялись дарами леса, но это не расстраивало Алексея, а меня, пацана, и подавно. Степанович в таких случаях переключался на другие промыслы: собирал орехи, заготавливал троны (ручки) для лопат, вил и грабель, вязал веники в баню...

— Своя поклажа рук не тянет, — довольный результатом, говорил он.

Когда приезжал Алексей с Петровной, для Олеся с Марыськой наступали не лучшие времена. Во-первых, прекращались постоянные споры между теткой и племянницей. Алексей особенно не вникал в суть конфликта, не судил-рядил, кто прав, кто виноват. Как правило, достаточно было лишь одного его окрика: “Что — опять?”, как обе тут же забывали о предмете спора и переключались на более полезные занятия. Но это еще куда ни шло. По прибытии Алексея и Веры Петровны начиналась тщательная ревизия хозяйства. Под вой и причитания старух в костер летело какое-то тряпье, всякого рода безделушки. Затем наступала генеральная уборка в доме и во дворе. Работа кипела день, два, три... Затем Алексей с Петровной садились во дворе на скамейке, под роскошным кустом синей сирени с чувством выполненного долга и вели между собой непринужденную беседу. Для соседей таким образом как бы подавался знак: ждем в гости — у нас, слава Богу, все в порядке. И соседи спешили с визита-

ми, чтобы расспросить дальних гостей о житье-бытье, перенесенной дороге, планах на будущее, предложить свои услуги. А еще... посмотреть на Марыську с Олесей. Их и впрямь было не узнать: чистенькие, в новых кофточках, юбках и платках, загодя приобретенных в далекой Уфе, и диктаторским методом принужденные к облачению прибывшим родственником.

Мой отец уважал Алексея. К Петровне относился со снисхождением — баба как баба, хотя и строит из себя... По случаю прибытия всегда приглашал уфимскую чету к нам в гости, и уже за столом шла долгая непринужденная беседа. Алексей не без юмора рассказывал, какой нелегкой ценой ему далась очередная победа над сестрой и теткой. С какой-то обреченностью возмущался:

— Живут, понимаешь, как в пещере. И талдычу им, и гоняю как сидоровых коз: посмотрите — в каком веке живете?! Ведь деньги шлю и прошу: следите за собой и хатой! Что горох о стенку...

Где-то с конца семидесятых Алексей с Петровной перестали приезжать. Из писем соседям, которые стали приходиться все реже и реже, стало известно, что ему неможется, плохо себя чувствует Петровна, и ей дальней дороги не перенести...

А Марыська с Олесей продолжали жить по своим законам. Их жилплощадь пришла в изрядное запустение. Дом, да и сами его обитатели пропитались стойким духом, крепко настоянным на “ароматах” кошачьих испражнений, пота, печной копоти и Бог весть чего, что невольно вызывало у стороннего человека острое ощущение дефицита свежего воздуха.

...Да-а, где ты, Алексей?

Как уже ранее говорилось, отношения Олеси и Марыськи носили, мягко говоря, далеко не безоблачный характер. У каждой из них было весьма скромное, но свое хозяйство, которое они вели очень ревниво. Сажали независимо друг от друга по несколько соток картофеля, которые копали, пожалуй, позже всех в деревне. Бывало, уже и “белые мухи” закружат, а чета сродственников, изрядно укутавшись в лохмотья, на коленках усердно ворочала землю. Сажали, конечно, и овощи стандартного набора: морковь, лук, чеснок, капусту, огурцы. Помидоры, несмотря на их беспроblemное произрастание в ту пору (в 60—70-е годы фитофтора не носила еще эпидемического характера, а потому теплиц мои земляки не строили), Марыська с Олесей почему-то не культивировали. Зато, пожалуй, как мало у кого, у них процветала тыква. Тыквенные семечки тетка с племянницей считали за лакомство, при всплеске душевной чувствительности непременно одаривали горстью-другой зерен субъекта своего особого почитания.

У каждой было по несколько кур, содержащихся в крохотных дощатых курятниках. Вот, пожалуй, и весь круг их хозяйственных интересов. Правда, было единственное живое существо, которое их объединяло, вызывало у обеих чувство редкой любви и преданности — кошка Мурка. Ухоженная и обласканная, с младых когтей постигшая вседозволенность, она бесшардонно хлебала с хозяевами суп из одной тарелки. Ее постоянно баловали рыбой, колбаской и прочими уладами, которых в досталь Олеся с Марыськой себе вряд ли позволяли.

Мурка, вернее, Мурки, при скоротечности кошачьей жизни, у Марыськи с Олесей обладали каким-то особым даром. Они, кажется, действительно понимали речь человека. Во всяком случае, приходилось наблюдать, как пристыженное одной из хозяек за какой-то проступок животное мыслимыми и неммыслимыми повадками выказывало свои извинения. Столь необычное развитие кошачьего интеллекта крылось, вероятно, в том, что с ним постоянно общались как с человеком. Нередко со двора Марыськи и Олеси можно было услышать монолог-рассуждение одной из них. Соседи в таких случаях знали, что в роли слушателя, немого участника диалога и, не исключено, советчика выступала Мурка.

Хозяйки не ложились спать, если дома не оказывалось кошки. И в час, и в два, и в три ночи можно было слышать жалобно-тревожные позывные: “Мурка, Мурка-а!..”. Остается только догадываться, какого душевного терзания и тревоги им стоил месяц март. Но что удивительно: Марыська с Олесей

никогда не предлагали соседям котят, хотя многие искушались стать обладателями отпрысков столь умной кошачьей породы. Они безжалостно топили в Ясельде или закапывали на огороде Муркино потомство. Скорее всего, боялись глаза, так как к предрассудкам относились с особым почтением. Но, памятуя о коротком кошачьем веке, всегда оставляли на смену непременно кошечку, которая по наследству получала имя матери. При этом “селекционная” работа была построена таким образом, что молодая Мурка была точной копией Мурки старой. Такое положение вещей, вероятно, позволяло им смягчать потерю горячо любимого друга, сохранить его образ в натуре и, кто знает, искренне верить в переход кошачьей души из одного Муркиного тела в другое.

— А что? — вполне серьезно заявила мне Олеся, когда я невольно подвел ее под эту мысль, сославшись на индуизм. — Это у человеческой души две дорожки — в рай или в ад. А куда деваться бедной кошачьей душе? Вот она и переходит от матери к дочери или к сыну.

— Что-то неувязка получается, — говорил ей. — Как быть с душой кошачьей, если в приплоде четыре котенка или, скажем, здравствуют кошка-мать и кошка-дочь? Одну ведь душу на двоих или четырех не поделишь?

— Приплод надо топить, а кошка-мать с дочерью-кошкой душой поделится. Это тебе не люди-вразины, — отрезала Олеся и всем видом показала, что ей неприятно продолжение этого разговора.

Нет, определенно тетка и племянница верили в переселение кошачьих душ.

Шли годы вприпрыжку. Все больше к земле гнулась Марыська, и тяготел к дисканту ее голос. Старела, но не теряла в бойкости Олеся.

И вот как-то объявляюсь в родительском доме и в череде последних деревенских новостей слышу от мамы самую печальную:

— Схоронили недавно Марыську. Царствие ей небесное и земля пухом...

Честное слово, воспринял это известие с болью в душе и, да простит мама, обиделся: могли бы дать весть — пришел бы проводить в последний путь старуху.

— Так ведь в будний день померла, — оправдывалась мама, — а у вас — дела, работа. Пусть покоится с миром: тихо жила — тихо померла...

И рассказала в подробностях, как провожали Марыську в мир иной. Олеся, надо же, и тут показала свой строптивый характер: наотрез отказалась финансировать похороны, мол, пусть хоронит тот, кому она отдала свой сбережения. Надо сказать, что на сей счет у нее были подозрения. Впрочем, никто из соседей им не внял и что-либо опровергать или утверждать не стал. Сбросились миром, соблюли ритуал чин по чину, а после похорон накрыли вскладчину стол и справили трапезу, отчего, как полагали соседи, душа бедной Марыськи возрадовалась и, обретя силы, отправилась в нелегкий путь потусторонних испытаний...

В биологии есть такое понятие — “симбиоз”. Это когда взаимно сосуществуют и не обходятся друг без друга разного вида животные. Скажем, акулу всегда сопровождает рыба-лоцман. Грозный хищник не только терпит соседа, но и делится с ним пищей. Не просто так, разумеется. Лоцман, в свою очередь, оказывает определенные “услуги” акуле. Но есть в животном мире иного плана примеры, когда одни животные просто не могут существовать друг без друга, то есть их совместное проживание настолько тесно связано и переплетено, что лишри жизни одно существо, — совершенно беспомощным становится другое. И если выжившее не найдет замены погибшему, то непременно само пропадет.

Нечто подобное, думается, было и в совместном проживании Марыськи и Олеся. Казалось бы, с уходом из жизни тетки для Олеся наконец-то наступило блаженство: кончились вечные споры, опять же — сама себе хозяйка: живи да радуйся. Ан нет! В общем-то здоровая от природы, энергичная по характеру старуха вдруг резко почувствовала недомогание, и очень скоро повезли ее соседи на кладбище.

Хоронили в точности по тому же сценарию, что и ее тетку.

Вот так — незаметно и тихо закончил свое существование род Ганчиков. Нет за ним каких-то значимых дел, не осталось, наверное, даже дерева, посаженного кем-то из его представителей на земле отцов.

Но, согласитесь, и память о нем тоже чего-то стоит.